

А. И.  
КУПРИН

*Избранное*



Мыс Гурон

Александр Куприн

**Торнадо**

«Public Domain»

1929

## **Куприн А. И.**

Торнадо / А. И. Куприн — «Public Domain», 1929 — (Мыс Гурон)

«Существует морское точное определение направлений ветров по градусам круга, по тридцати двум румбам с долями. Но это для ученых, профессиональных мореходов. А у простых рыбаков повсюду есть ветрам свои особые, старинные, вековые названия...»

## Александр Иванович Куприн

### Торнадо

Существует морское точное определение направлений ветров по градусам круга, по тридцати двум румбам с долями. Но это для ученых, профессиональных мореходов. А у простых рыбаков повсюду есть ветрам свои особые, старинные, вековые названия.

Так, в древней Балаклаве, в этой гомеровской стране кровожадных лейстригов, восемь главных ветров называются:

Морской, Береговой, Леванти, Грета-Леванти, Широко, Трмонтана, Бора и Острия.

Кроме того, внезапный, бог знает откуда налетевший, короткий воздушный водоворот – это «джигурина», а настоящий, истребительный, страшный циклон, который под небесную бомбардировку, при ослепительной иллюминации молниями сносит дома, опрокидывает груженные вагоны и выдергивает из земли с корнями вековые деревья, называется «тарнада».

Ничего нет странного в том, что некоторые из этих черноморских названий я нашел у рыбаков на южных мысах благословенного Прованса. Северо-восточный ветер так и зовется Бора, южный – Сирокко, Острия – Ост, Тарнада – Торнадо. Черное и Средиземное моря с незапамятных времен были лакомыми приманками для рыскавших по морям авантюристов, завоевателей, пиратов и флибустьеров. Лукавые финикияне, пронырливые греки, железные римляне и, особенно в последние времена, предприимчивые, неутомимые генуэзцы, – оставили на побережьях этих морей глубокие памятники своей громадной культуры, памятники, и по сии дни неизгладимые... Самые же резкие следы оставили: на суше – римляне, в морях – генуэзцы.

Буря Торнадо подготавливается в небесной лаборатории задолго. Кому во Франции не останутся памятливы на всю жизнь те пронзительно знойные дни и удушливые ночи, которые стояли в конце августа и начале сентября 1929 года, когда адское пекло доходило до тридцати пяти градусов в тени и люди падали на улицах, пораженные солнечными стрелами? Вот тогда-то и шла спешным ходом в великом пиротехническом заводе работа над изготовлением Торнадо. Нам, скромным обитателям Робинзоновой хижины, сначала еще переносна была эта адова жарница; как-никак, а с моря все-таки иногда доносились до нас свежие струйки морского дыхания. Но вскоре и нам стало невтерпёж. Море лежало плоско, белесо и было усталое, измороженное, снулое, бездыханное; грязные и толстые облака лежали над ним без движения, точно приклеенные. Сосновая хвоя так сильно и густо пахла, как будто бы весь наш горный лесок был обильно полит скипидаром. Купанье не освежало. Легкая прохлада чувствовалась лишь при первом погружении в море, но это был самообман: через минуту вода становилась противно теплой и на ощупь липкой. Когда же, выбравшись из моря на пляж, ты садился на раскаленный, ослепительно белый песок, то на секунду ты испытывал такое ощущение, точно из тебя собираются приготовить филейный бифштекс à la Chateaubriand.

И вдобавок эти ненасытные, безумные цикады кричали так яростно и так оглушительно, что за ними нельзя было слышать ленивый плеск прибоя...

Кто-то когда-то сказал: «Любовь, вино и солнце – прекрасные вещи, если только ими не злоупотреблять». Изречение, по-моему, дельное. Но с завистью должен сказать, что солнце повредить может только нам, людям взрослым; дети же могут употреблять его с пользой и с удовольствием в дозах, гораздо более чем лошадиных. Здесь, в Ля-Фавьере, они целый день копошатся на первобытном, еще не тронутом модой, на своем собственном пляже, от раннего розоватого утра до быстро падающих на землю бархатных сумерек, и даже в те палящие, после-полуденные часы, когда их папы, мамы и педантичные тети, обвязав голову мокрой салфеткой, ищут отрады в воображаемой тени, когда лошадям напяливают на темя чепцы, когда собаки, укрывшись в тени забора или бревна, лежат с умильно сощуренными глазами, с языком, высу-

нутым до земли, и дышат непостижимо быстро; и когда куры зарываются в пыль с разинутыми клювами...

Поистине, этот веселый, чистенький морской бережок – настоящий рай для детворы, и – главное – такой удивительный рай, который никогда не может ни надоесть, ни прискучить. Да ведь надо признаться в том, что и я – человек пожилой, видевший в жизни чрезвычайно много и почти перегруженный впечатлениями, которые вбирал в себя с ненасытной жадностью, – я могу подолгу, часами, глядеть на детскую возню у моря, и всегда это зрелище мне любо. Что за прелесть эти мальчуганы и девочки, еще не перешагнувшие за пять лет. На сгибах ручек и ножек у них еще тело как бы перевязано ниточками; у них еще выпячиваются вперед кругленькие младенческие пузики, и оттого они кажутся коротконожками и немножко похожи на паучков; и очень к ним идет наименование карапузик. Они еще не тверды на ногах и постоянно шлепаются на задущку.

Плачут они по сто раз в день, но не долее минуты, чтобы опять расхохотаться, а полуминутная ссора мгновенно переходит у них в поцелуй. И заметьте: если где есть юмор чистейшей пробы – то, конечно, только у этих младенцев. И смешно, и трогательно, и радостно, и забавно наблюдать их жизнь.

Когда-то, в древности, течение каждой отдельной человеческой жизни разделялось на семилетние ступени, называемые «люстрами»: первый люстр – Младенчество, второй – Детство, третий – Отрочество, четвертый – Юношество и так далее, но эти дальние люстры не так уж интересны, особенно самые последние... А кроме того, разве можно применять общую мерку к людям разных рас, племен, климатов и индивидуальностей? Но я знаю один возраст, который всегда и везде прекрасен; прекрасен, во-первых, потому, что он сам не подозревает своей красоты. Это возраст, когда девочка только что перестала играть в куклы, а мальчику еще далеко до первых признаков возмужания. Еще не наступило время, когда они обое вдруг подурнеют, станут рукастые, ногастые, неловкие, рассеянные. (В Сибири подростков таких с любовной шутливостью зовут «щенок о пяти ног».) Теперь они еще находятся в периоде первоначального невинного и радостного цветения. У обоих нет пола. Строение их тела одинаково. Смотрю я на то, как они почти голышом, шоколадные от загара, носятся по упругому песку пляжа, прыгая, как козлята, или барахтаются в воде, и, право, не сумею сказать, кто из них девочка, кто мальчик. Обое худошавы, потому что тянутся в рост, обое нежно-грациозны в движениях, и слава богу, что сами этого не замечают; обое узки в бедрах и плоски как спереди, так и сзади, тем более что у них обоих стриженные волосы и одинаковые береты.

Ах, как прекрасны их гибкие тела! Наружные очертания их рук, ног, плеч и шей кажутся точно обведенными тончайшим серебряным карандашом, точно освещенными каким-то пушистым сиянием. Этой красоте осталось немного дней, и она уже никогда не вернется.

Вот гляжу я на этих счастливых красавцев, и мне приходит в голову мысль:

«Не были ли глубоко правы и мудры древние греки, эти великие знатоки прекрасного и изящного, когда изображали Аполлона, бога красоты, в виде Эфеба – отрока с телом невинным и нежным, еще не омраченным возмужанием».

И еще о прелести движения.

Как радостны для глаза всякие движения, которые не связаны с выучкой, с подготовкой, со школой, с проверкой в зеркале. Видали ли вы когда-нибудь работу косцов? Видали ли рязанскую бабу, несущую осторожно два ведра на коромысле, или мужика-сеятеля? Или продольных пильщиков? А теперь вообразите классический балет, или чарльстон, или фокстрот. И, должно быть, из всех наших человеческих наслаждений – настоящие те, которые просты и естественны.

Солнце жжет все нестерпимее, все беспощаднее. Но зато и какие же чудеса оно делает. Недалеко от нас, на пляже Лаванду, поселилась наша хорошая знакомая, молодая девица. Была она в Париже томна, скучна, бледнолица, читала до глубокой ночи французские романы, и

руки у нее всегда были холодные. И на божий свет она глядела с кислым презрением, сквозь темные очки.

Разделяло нас пространство километров в восемь, если считать дорогу морем. И вот однажды, часов в девять утра, мы видим, что из Лаванду идет прямо на наше кабаню лодка с одним гребцом. Через некоторое время мы убеждаемся, что гребет женщина, а еще минут через пятнадцать узнаем нашу милую мадемуазель Наташу. Я сбегая вниз и помогаю высадиться и провожаю к нам наверх, в хижину. И только в комнате, когда она села лицом к свету, я с удивлением и восторгом вижу, какую волшебную перемену произвели в ней море и солнце.

Где эта прежняя вялость, где бледность, худоба, томность и скука? Живое, веселое, круглое лицо, и сквозь загар здоровый яркий румянец, а по румянцу брызнули золотом и на лоб, и на щеки, и на нос, облупившийся от солнца, восхитительные веснушки; не те желто-бледные анемические веснушки, какие бывают на макаронных лицах англичанок-учительниц, а те русские милые веснушки – знак полноты жизни и чистоты крови, – которые обыкновенную девичью саратовскую лупетку сделают многократно красивее патентованной и премированной европейской красавицы.

Пока я сижу молча и не спускаю с нее глаз, она рассказывает удивительные вещи. Какой восторг! Она научилась плавать и теперь доплывает до эстакады. Она легко гребет на лодке, но она ездит и на водяном велосипеде. И еще одна гордость: вчера ее взяли рыбаки на рыбную ловлю, и, честное слово, она хоть и промокла вся, но храбро тянула сеть и даже удостоилась рыбацкой похвалы.

– И вообще я убедилась в том, что люди, чем проще, тем они лучше, добрее и занимательнее... Никуда не годятся и все лгут любовные романы, да и зачем терять время и портить глаза за чтением, если жизнь так хороша и разнообразна!

Но тут мадемуазель Наташа (с ударением на последнем слоге) спохватывается и говорит о главной цели своего визита: не знаем ли мы, какое лучшее средство от веснушек и чем мазать нос, если он шелушится?

Напрасно я убеждаю ее:

– Наташа, милая Наташа, поверьте моей правдивости, моему вкусу и моей испытанной дружбе: никогда вы еще не были и никогда уже не будете столь прекрасною, как вы прекрасны сейчас.

Но она обижается и надувает губы:

– Ну, да. Я так и знала, что у вас ничего не найдется в запасе, кроме злых шуток. Где моя шляпа?

Проходят дни, а солнце неутомимо, с веселой яростью продолжает свое чародейство. Электричество пересытило воздух. У кошек шерсть стоит дыбом. Нервные люди становятся раздражительны и придирчивы. Странная вещь: недели две тому назад Тулонский военный флот вышел на большие маневры, с учебной стрельбой, дневной и ночной. До сих пор еще и днем и ночью продолжается раскатистая бомбардировка. Неужели это все еще продолжают маневры?! Я прислушиваюсь пристальней и наконец понимаю ясно, что это вовсе не маневры, а просто юг Прованса кругом обложен грозowymi тучами, которые вот-вот готовы разразиться бурей, но почему-то не могут, еще не умеют, не смеют или злобно накапливают свои разрушительные силы. Сколько дней? Может быть, пять – слышал я это угрожающее рокотание неба. Ночью оно было похоже на то, как в зверинце рыкает глухо и грозно запертый в клетку лев. И от этих тяжелых звуков лошади в стойлах перебирают ногами, прядут ушами и потеют в ужасе. И ждешь, ждешь, что он сейчас заревет страшным голосом, ударом лапы разобьет решетку и бешено выпрыгнет на свободу.

Утро встало мутное, без солнца. Тучи были густо, почти черно-синие, и на них какие-то рваные, белые со ржавчиной клочья. Я пошел к нашему другу Оннора купить винограда. Пока он отвечивал мне его, небо потемнело. Семилетняя девочка хозяйина, славная, ласковая

девочка, со странным и как будто русским сокращенным именем Надежь, взяла мою руку и тихо сказала:

– Мне страшно.

Странно: этот тихий, жалобный голосок пробудил и во мне мистическое предчувствие приближающегося страха.

Пришел старик Оннора с корзиной. Он взглянул на небо и сказал уверенно:

– Пройдет мимо нас, в стороне.

Закапали первые тяжелые и теплые капли. Я заторопился. Когда я проходил мимо соседних дач, Н. Н. Черепнин крикнул мне с балкона:

– Возьмите-ка зонтик!

Но я отказался, сославшись на авторитет Оннора, старого знатока местных погод, и побежал дальше.

Да! Виноградарию все-таки далеко до моряка, и темный инстинкт маленькой Надежь оказался пронизательнее мудрого старческого опыта... Едва я затворил за собою дверь нашей хижины, как началось... Нельзя было сказать про этот внезапный дождь, что он полил или что отверзлись хляби небесные. Скорее я сказал бы, что над нами опрокинулась труба верст сорока в диаметре и с бесконечным запасом воды в неизмеримом резервуаре...

Опишу ли я эту бурю? Сумею ли? Нет и нет. Я не найду для нее на человеческом языке ни эпитетов, ни сравнений, ни уподоблений. Да и вообще ураган неопишуем. Всего могущественнее живописал его старик Диккенс. Помните, как Давид Копперфильд едет поспешно в Ярмут сквозь страшную бурю, между тем как в Ярмуте в эти минуты происходит еще более страшная человеческая катастрофа?..

Ну и накопило же небо гнева!

Гром и молния падали непрерывно, и порой, казалось, молния не предупреждала гром, а как бы врзалась в его грохот. Хижина наша тряслась. Все те дыры в потолке, сквозь которые мне улыбались прежде по ночам кроткие звезды, обратились в водопроводные краны и стали поливать нашу лачугу из пяти мест сразу. Я растерялся. Вода разлилась по моему рабочему деревянному столу и стала затоплять рукописи как мои, так и чужие, и я видел, как чернила на них расплывались грязными пятнами.

«Пропадут мои рукописи, – думал я, – это еще полбеды, их можно восстановить по памяти... Но поэты и прозаики, которые дали мне свои шедевры на просмотр и помещение в какой-нибудь журнал! Они заклюют меня до смерти...»

Слава друзьям нашим – женщинам. В минуты катастроф, и крушений, и серьезных опасностей они и находчивее, и практичнее, и деловитее, и умнее нас. Панику обыкновенно начинают мужчины. Под командой друга мы быстро поставили под потолочные течи все, что у нас нашлось емкого: тазы, кувшины, кастрюли. Но вода чересчур быстро наполняла наши сосуды: каждую минуту нам приходилось выплескивать из них содержимое то в окно, то за дверь. Не могли же мы позволить этому потоку размыть наш шалаш и оставить нас под открытым небом?

И помню я один жуткий момент. Нужно было опорожнить за дверь каменный боль, в котором нам обыкновенно приносили воду из колодца, – тяжелый сосуд времен римского владычества. Долго мы ничего не могли поделать с этой утлой и обыкновенно до преступной слабости послушной дверью, ибо снаружи на нее напирал ураган силою в ужасное количество баллов. Наконец нам соединенными усилиями удалось в подходящую минуту преодолеть ее упорство.

Она поддалась и вдруг распахнулась настезь, бешено хлопнувшись о каменную стену, и мы на мгновение ослепли и потеряли соображение. Казалось, прямо к нам в комнату влетел с ураганом зигзаг огромной молнии невыносимой яркости. И одновременно грянул гром. Он не раскатился и не бухнул. Его удар был мгновенен и сух, как удар кремня о камень, но мощност

его была поразительна. Мне почудилось, это над нами расколосось небо, раскололась наша халупа и на две части раскололась моя голова.

Мы едва оправились от потрясения и ужаса. Да, без всяких церемоний я признаюсь в том, что пережил секунду дикого стихийного ужаса, и мне кажется, что солжет тот человек, который поэтически, в байроновском духе, скажет, что он презрительно улыбнулся молнии, которая в шести шагах от него вонзилась в землю, оставив на ней круглую черную дыру.

Немедленно после этого страшного взрыва буря стала стихать. Она не истощила еще своих дьявольских сил, но ее бушующий центр отходил от нас все дальше и дальше, за острова, на другую сторону залива, к Тулону, где Торнадо разразился вовсю. Впрочем, в газетах этих дней подробно печаталось о том, какое наводнение и какую катастрофу наделал в Тулоне этот иррациональный ветер.

Гроза пронеслась, глухо рыча, точно огрызаясь. Дождь лил по-прежнему. Мы набрали в кувшин дождевой воды и вскипятили чай. Из Лаванду в этот день никто не приехал: ни поставщики, ни почтальоны. Какая-то жалкая лужица разлилась до размеров Волги и перерезала сообщение. Что за пустяки: у нас был картофель и головка знаменитого провансальского чеснока. А когда мы открывали дверь, то с моря вливался к нам в комнату запах озона, самый прекрасный запах в мире, ибо озон пахнет немного фосфором, и немного снегом, и немного резедою; комбинация же этих запахов очаровательна.

На другой день утром мы с удивлением увидели, что сделал Торнадо с нашим кокетливым, хорошеньким пляжем. Он его совсем исковеркал. Ему мало было нагромоздить огромные горы песка, грязи, водорослей и диких камней. Он врывался в самую глубину моря, проникал до дна и буравил его, выкидывая наверх тяжелую первородную породу. Вся вода перед пляжем стала мутно– и густожелтой.

Милая моя молодежь приходила купаться, останавливалась далеко от берега, печально покачивала головами и уходила домой.